Дискурсы этики. 2026, 3(31): 35–56
ISSN 2311-570X (online)
Постоянная ссылка:
http://theoreticalappliedethics.org/wp-content/uploads/2026/11/DE2026_3_31_35-56.pdf
DOI: 10.24412/2311-570X-2026-3-35-56

УДК 821.161.1

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЮРОДИВОГО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Арсибекова В. С.

статья:
поступила в редакцию 22.04.2026
принята к публикации 31.07.2026
опубликована (онлайн) 25.11.2026

© Арсибекова Валерия Сергеевна
магистрантка 1 курса Института философии СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
адрес для корреспонденции: larsibekova@mail.ru

Эта статья доступна в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Аннотация: В статье исследуется трансформация образа юродивого в русской литературе XIX века — от первых эпизодических опытов до зрелых реалистических воплощений. На основе анализа произведений А.С. Пушкина («Борис Годунов»), Л.Н. Толстого («Детство»), Ф.М. Достоевского («Идиот», «Преступление и наказание»), Н.С. Лескова («Очарованный странник», «На краю света»), А.Н. Островского («Гроза», «Лес») и В.В. Крестовского («Петербургские трущобы») и других авторов выдвигается гипотеза о том, что XIX веке происходит секуляризация образа. Юродивый утрачивает исключительно церковную природу, как это было изначально, и превращается в светскую фигуру — носителя высшей правды и «голос совести» народа. Юродивый становится автономным этическим феноменом и его нравственный авторитет зиждется не на чу-

де или церковной санкции, а на жертвенности, предельной уязвимости и способности к состраданию.

Автор выделяет основные критерии юродивого в литературе: сознательное нарушение социальных норм, мудрость за личиной безумия, обличительная функция и др. Особое внимание уделяется этическому измерению образа: от пушкинского Николки, выносящего суд над царём, до «блаженных» героев Крестовского, обличающих социальное дно капиталистического Петербурга. Автор приходит к выводу, что литературный юродивый XIX века становится барометром духовного состояния общества, индикатором его ценностных ориентиров. Сегодня обращение к этой теме сохраняет непреходящее значение: правда часто находится не в центре, а на периферии, не у обладающих властью, а у тех, кто от неё отказался.

Ключевые слова: юродивый, русская литература XIX века, секуляризация, мораль, этика, правда, совесть, маргинальность.

Discourses of Ethics. 2026, 3(31): 35–56
ISSN 2311-570X (online)
permanent link:
http://theoreticalappliedethics.org/wp-content/uploads/2026/11/DE2026_3_31_35-56.pdf
DOI: 10.24412/2311-570X-2026-3-35-56

THE IMAGE OF THE HOLY FOOL AND ETHICAL QUESTS IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH

Arsibekova Valeria

received 22.04.2026
accepted 31.07.2026
published (online) 25.11.2026

© Valeria S. Arsibekova
1st-year Master's Student at the Institute of Philosophy, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation
Correspondence to: larsibekova@mail.ru

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Abstract: The article examines the transformation of the holy fool image in 19th-century Russian literature — from the first episodic experiments to mature realistic incarnations. Based on an analysis of works by A.S. Pushkin (Boris Godunov), L.N. Tolstoy (Childhood), F.M. Dostoevsky (The Idiot, Crime and Punishment), N.S. Leskov (The Enchanted Wanderer, On the Edge of the World), A.N. Ostrovsky (The Thunderstorm, The Forest), V.V. Krestovsky (Petersburg Slums), and other authors, the article puts forward the hypothesis that the 19th century witnesses a secularization of the image. The holy fool loses his exclusively ecclesiastical nature, as it originally was, and turns into a secular figure — a bearer of higher truth, the "voice of conscience" of the people. The holy fool becomes an autonomous ethical phenomenon, whose moral authority rests not on miracles or church sanction, but on self-sacrifice, extreme vulnerability, and the capacity for compassion.

The author identifies the main criteria of the holy fool in literature (deliberate violation of social norms, wisdom behind the mask of madness, a critical, denunciatory function, etc.). Special attention is paid to the ethical dimension of the image: from Pushkin's Nikolka, who passes judgment on the tsar, to the "blessed" characters of Krestovsky, who denounce the social underworld of capitalist Petersburg. The author concludes that the literary holy fool of the 19th century becomes a barometer of the spiritual state of society, an indicator of its value orientations. Today, the exploration of this theme retains its enduring significance: truth is often found not at the center, but on the periphery — not among those who hold power, but among those who have renounced it.

Keywords: Holy Fool, 19th-Century Russian Literature, Secularization, Moral, Ethics, Truth, Conscience, Marginality.

Рождение секулярного юродивого: Пушкин и Толстой

Кардинальная трансформация образа начинается в XIX веке, в эпоху секуляризации, когда церковь перестаёт иметь ключевое значение. Религиозный подвиг юродства начинает переосмысляться в художественных формах: юродивый всё ещё напрямую связан с верой, но уже свободен от церковного института.

Первой вехой становится трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825). Образ Николки-юродивого выполняет в пьесе функцию нравственного камертона. Его реплика «*Нельзя молиться за царя Ирода*» в финале трагедии — это акт высшего морального суда, который выносится не от лица церковной иерархии или государственной власти, а от лица «безумного», то есть того, кто стоит вне этих институциональных структур.

Анализ пушкинского Николки позволяет говорить о нём как о первом в русской литературе опыте воплощения юродивого вне агиографического канона. Николка далёк от церковного влияния. У этого героя нет житийного прошлого, нет вериг и явных чудес. Пушкин сознательно отказывается от каких-либо указаний на святость: «безумие» героя проявляется лишь в странном поведении (плачет, поёт песенку, прячется от мальчишек). Однако именно этот маргинальный персонаж оказывается единственным, кто сохраняет способность к недвусмысленному моральному суждению в мире, где все остальные (от Бориса до Самозванца, от Шуйского до Басманова) погружены в политическую игру и моральный релятивизм.

Пушкинский Николка не обличает конкретные политические действия, он обнажает самую суть нравственной катастрофы: убийство царевича Димитрия делает невозможным молитву за царя, разрывает сакральную связь между властью и народом. Этический смысл этой сцены чрезвычайно ценен. В мире, где все персонажи так или иначе вовлечены в политическую игру, где сама совесть оказывается раздробленной и релятивизированной (вспомним муки Бориса Годунова, который одновремен-

но и царь, и убийца), юродивый сохраняет способность к недвусмысленному моральному суждению. Однако важно отметить: пушкинский Николка лишён сакрального ореола, его сила — не в чудесах или пророчествах, а исключительно в слове правды. Пушкин тем самым совершает явную секуляризацию образа: юродивый предстает не как святой, но как нравственный максималист, чья правота подтверждается не божественным авторитетом, а силой личного свидетельства.

Л.Н. Толстой в повести «Детство» (1852) предлагает иную, но не менее значимую трактовку образа. Гриша, странник и юродивый, появляющийся в доме Иртеньевых, — это воплощение народной, стихийной веры. Толстой акцентирует не столько обличительную функцию, сколько молитвенное горение. Для Толстого юродство — форма «естественной» религии, противостоящей общепринятому обрядовому благочестию.

Толстой сознательно снижает пафос житийного юродства, изображая его с позиции «детского» и одновременно просвещённого взгляда. Рассказчик-Николенька описывает Гришу с подробностями, которые подрывают традиционный ореол святости: «*На ногах его были надеты большие тяжелые вериги; он был в лохмотьях, с непокрытой головой, с длинными, спутанными волосами».* Писатель не скрывает физиологических деталей (храп, слюна, неловкость), но именно через эту бытовую, «негероическую» детализацию он создает эффект подлинности. Этическая ценность Гриши — не в чудесах, а в его способности к молитве, в той «благоговейной тайне», которую чувствует вокруг него детская душа.

Этика толстовского юродивого — это этика непроизвольной святости, которая рождается не из сознательного подвига, но из глубины народного духа, из его соборности. Гриша не обличает пороки Иртеньевых, он просто «есть» — и его присутствие заставляет даже светских людей (бабушку, мать) испытывать смутное чувство трепета. Толстой показывает, что народное благочестие, даже в его наивных и неканонических формах, сохраняет нравственный потенциал, утраченный официальной церковностью и светской культурой.

Достоевский: юродство как экзистенциальная категория

У Ф.М. Достоевского юродство становится не просто одной из характеристик персонажа, а фундаментальной экзистенциальной категорией, позволяющей поставить вопрос о судьбе христианского идеала в секулярном мире. Князь Лев Николаевич Мышкин из романа «Идиот» (1869) — это вершина трансформации образа юродивого в XIX веке. Достоевский создает персонажа, в котором агиографические черты юродивого синтезированы с проблематикой современного ему интеллигентского сознания. Мышкин — «юродивый Нового времени», чья трагедия заключается в невозможности «святого» существования в условиях модерна.

Столкновение Мышкина с петербургским обществом — это не просто конфликт «чистого сердца» с пороком. Это катастрофа самого принципа абсолютной этики. Наивность князя, его неспособность к лицемерию, его всепрощающая любовь оказываются не просто неадаптивными, а даже разрушительными. Достоевский обнажает трагический парадокс: в мире, утратившем онтологические основания добра, подлинная святость становится не спасением, а катализатором катастрофы.

Князь Мышкин наделен теми качествами, которые в древнерусской традиции делали юродивого прозорливцем: он видит глубинную, «божественную» сущность человека. Он мгновенно распознает в Настасье Филипповне не «падшую», а страдающую душу; он чувствует в Рогожине не убийцу, а брата. Однако именно эта способность провоцирует трагическую развязку. Мышкин не может спасти никого, потому что в мире, где нет благодатной среды, где добро не институционализировано, индивидуальная святость бессильна.

Достоевский вводит в роман мотив «идиотизма» — не только в клиническом смысле, но и в этическом: князь «не от мира сего», он не способен функционировать в системе социальных компромиссов. Его юродство проявляется в том, что он отказывается от той «нормальной» дистанции между людьми, с которой общество привыкло существовать. Он хочет быть «всеми братом», но в мире, где каждый защищен маской, такая открытость становится разрушительной.

Достоевский так же лишает Мышкина традиционных атрибутов юродства: нет вериг, нет эпатажного поведения, нет наготы. Его «безумие» — это безумие любви, которая в секулярном мире воспринимается как патология. В этом смысле Мышкин — наследник древнерусских юродивых, но его судьба обнажает кризис этического абсолюта. Достоевский показывает, что в условиях модерна, когда церковь утратила роль нравственного арбитра, а государство и общество строятся на началах выгоды, «святой» не может быть услышан; более того, его присутствие только обостряет зло.

Кроме Мышкина, Достоевский создает целую галерею персонажей, несущих в себе юродские черты. Мармеладов в «Преступлении и наказании» — это травестированный юродивый, чьё пьянство и унижение становятся формой добровольного мученичества, своеобразной «похабной» аскезой. Соня Мармеладова — юродивая-праведница, чья «безумная» жертвенность (выход на панель ради семьи) оказывается единственным нравственным ориентиром для Раскольникова. Алёша Карамазов наследует мышкинскую линию «светского юродивого», но в «Братьях Карамазовых» Достоевский уже намечает путь к возрождению общинной, соборной святости, преодолевающей трагическое одиночество Мышкина.

Лесков: национальная стихия и этика правды

Н.С. Лесков в «Очарованном страннике» (1873) создаёт образ Ивана Северьяновича Флягина — «юродивого-стихийника». В отличие от интеллектуализированного юродства Достоевского, Флягин — это человек из самой гущи народной жизни. Лесков демонстрирует радикальную для своего времени мысль: русская «праведность» может рождаться не из книжной учености или аскетического подвига, но из самой стихии жизни, из глубины народного опыта.

Образ Флягина иллюстрирует уникальную этическую конструкцию: герой Лескова нарушает все мыслимые моральные запреты (убивает монаха, виновен в гибели цыганки Груши, пьянствует, ведет разгульную жизнь), но при этом сохраняет нерефлексивную, органическую связь с правдой. Его юродство проявляется не в маске безумия, а в «детско-

сти» мировосприятия, в отсутствии внутренней рефлексии и лицемерия. Флягин не рефлексирует о добре и зле, но интуитивно, «сердцем» выбирает правду.

Этическая уникальность лесковского юродивого заключается в его нерефлексивной святости. Лесков показывает, что народная этика — это не система правил. Это живое, органическое чувство правды, которое может сохраняться даже в самых греховных обстоятельствах. Флягин убивает, грешит, но каждое его падение оборачивается новым духовным опытом. Его «очарованность» жизнью — это та самая стихийная религиозность, которая, по мысли Лескова, составляет основу русского национального характера.

Важной чертой образа Флягина является его «странничество». Он не имеет постоянного дома, он всегда «в пути», и это физическое странствие становится метафорой духовного поиска. В отличие от пушкинского Николки, который статичен, или мышкинского «сидения» в Петербурге, Флягин движется по пространству России, и каждая остановка открывает ему новую грань жизни. Лесков подчёркивает, что русская праведность — это не укорененность в традиции, а способность к преодолению, к переходу через границы.

Финальный выбор Флягина — уйти в монастырь, но не в качестве «святого», а в качестве послушника, готового в любой момент взять оружие для защиты Отечества, — подчеркивает двойственность лесковского юродивого. Он одновременно и монах, и воин, и грешник, и праведник. Эта антиномичность — прямой наследник древнерусского юродства, но перенесенный в плоскость национального характера, а не церковного подвига.

Лесков создаёт и других персонажей, несущих в себе юродские черты. Например, рассказе «На краю света» (1875) образ православного миссионера-юродивого, идущего в сибирскую глушь, позволяет автору исследовать границы между христианским подвигом и культурным высокомерием. Для Лескова истинное юродство — это форма радикальной веры, способная преодолевать любые культурные барьеры. Миссионер, который добровольно принимает на себя личину «безумного», чтобы быть услышанным язычниками, — это ещё одна грань секуляр-

ного юродивого, чья святость измеряется не канонической правильностью, а действенной любовью.

Юродивые в драматургии А.Н. Островского: народная этика и социальная сатира

Особое место в галерее литературных юродивых занимают персонажи драматургии А.Н. Островского, посвящённые жизни купеческого сословия и народной России. В пьесах драматурга образ юродивого приобретает специфические черты, связанные с театральной природой самого жанра и с островским интересом к национальному быту.

В драме «Гроза» (1859) образ юродивой барыни (полубезумной старухи, которая появляется с двумя слугами и пророчествует) выполняет функцию нравственного предостережения. Ее слова «Красота-то ведь в омут затягивает» обращены к Катерине и становятся зловещим предзнаменованием трагической развязки. Островский не наделяет этот персонаж развернутой биографией или психологической глубиной; барыня предстает как функциональный юродивый, чья роль — быть «голосом судьбы», обнажать скрытые угрозы.

Островский также отказывается от психологической индивидуализации этого персонажа, чтобы подчеркнуть его архетипическую природу. Барыня — это не столько конкретный человек, сколько рупор народного суеверия, голос «тёмного царства», который одновременно и предостерегает, и нагоняет страх. Её маргинальность (она находится за пределами семейно-родственных связей города, её видят только на бульваре, в общественном месте) позволяет ей быть «внешним» голосом, который слышат, но не воспринимают всерьёз. Эта слепота мира по отношению к правде юродивой становится частью этической драмы: предостережение произнесено, но не услышано, и гибель Катерины становится неизбежной.

Этический смысл этого образа раскрывается в контексте калиновского мира, где все живут по законам лицемерия и страха («тёмное царство»). Юродивая барыня — единственный персонаж, который говорит правду прямо, пусть и в форме безумных пророчеств. Однако её слово оказы-

вается бессильным, потому что оно принадлежит маргиналу, чей голос не имеет веса в иерархическом мире Кабанова и Дикого.

Более сложный и разработанный образ юродивого Островский создаёт в драме «Лес» (1870). Аркадий Счастливцев, трагический актер, странствующий вместе с комиком Несчастливцевым, наследует многие черты юродской традиции. Его «безумие» — это осознанно принятая личина, за которой скрывается глубокая душевная рана. Аркадий — человек, который «потерял лицо» в социальном смысле, но именно это позволяет ему видеть людей «реальными».

Анализ образа Аркадия Счастливцева требует понимания тесной связи между юродством и лицедейством, которую Островский осознавал как одну из фундаментальных черт русской народной культуры. Аркадий — актёр, то есть человек, чья профессия заключается в перевоплощении, в ношении масок. Но именно эта способность к перевоплощению позволяет ему сбрасывать социальные маски и видеть суть вещей. Его юродство проявляется в эксцентричном поведении, в склонности к шутовству, и за этой маской обнаруживается способность к состраданию и самопожертвованию.

Этическая проблематика «Леса» строится вокруг противостояния «настоящих» людей (актёров, юродивых, маргиналов) и «фальшивых» представителей дворянско-купеческого мира (Гурмыжская, Буланов, Милонов). Аркадий, как и его товарищ Несчастливцев, — носитель подлинной неинституционализированной нравственности. В финале пьесы именно Несчастливцев, который берёт на себя роль «судьи», выносит приговор лицемерию, а Аркадий становится его союзником. Театральность, искусственность поведения юродивого (или актёра в этом случае) оказывается формой доступа к правде, которая невыразима на языке серьёзной, социально адаптированной речи.

«Петербургские трущобы» В.В. Крестовского: юродивый в урбанистической бездне

В контексте трансформации образа интересно рассмотреть роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» (1864–1867). Это произведение, написанное в русле «физиологического очерка» и уголовно-

го романа, предлагает уникальный вариант юродивого, существующего уже не в патриархальном городе Калинове и не в усадебной дворянской среде, а в бездонной урбанистической стихии столицы.

В этом грандиозном паноптикуме петербургского дна Крестовский выводит целую галерею персонажей, несущих в себе юродские черты, но при этом полностью лишённых сакрального ореола. Наиболее ярким примером служит образ «блаженненькой» — странницы или нищенки, которая, находясь на самой низшей ступени социальной лестницы, обретает способность к нравственному суду над обитателями «трущоб». В отличие от древнерусских юродивых, чей авторитет освящался церковным преданием, крестовская «блаженненькая» — это продукт городской маргинализации, человек, доведенный до грани безумия нищетой и насилием.

Мы можем выделить несколько ключевых черт, отличающих юродивых Крестовского от предшествующей традиции. Во-первых, Крестовский совершает радикальную *десакрализацию юродства*. Его героини не творят чудес, не пророчествуют в религиозном смысле; их «блаженство» — это форма выживания на грани безумия, которая парадоксальным образом сохраняет в них человеческое достоинство, а главное — этическое зрение. Во-вторых, Крестовский связывает юродство с *социальным протестом*. Если у Пушкина или Достоевского юродивый обличал экзистенциальный грех (жестокость, гордыню), то у Крестовского он обнажает социальное зло — несправедливость капиталистического города, равнодушие сытых к голодным.

В романе несколько персонажей несут юродскую функцию. Старуха-прорицательница, живущая в трущобах, — это фигура, сочетающая черты народной знахарки и юродивой. Её предсказания сбываются, но это не чудеса в агиографическом смысле, а интуитивное знание закономерностей социального мира. Сумасшедший офицер, появляющийся в некоторых эпизодах, — это ещё одна вариация юродивого: человек, чьё безумие является результатом травмы, но который в своём безумии обретает способность говорить правду. Эти люди способны говорить правду именно потому что «не запятнаны» институциональностью, формализацией и Бартовской доксой.

Крестовский пишет о том, что в мире, где всё продается и покупается, где человеческая жизнь обесценена, фигура «блаженного» маргинала становится последним оплотом совести. Этический авторитет этих героев основан не на святости, а на их предельной уязвимости и жертвенности. Они существуют поверх любых институциональных принципов — и церковных, и государственных, — их слово не имеет силы закона, но оно сохраняет силу свидетельства. В этом смысле Крестовский подготавливает почву для появления в литературе «светского юродивого», чья святость измеряется не отношением к Богу, а мерой их сострадания к человеку.

Кроме того, в «Петербургских трущобах» важна топология юродства. Если в древней Руси юродивый был публичной фигурой, он действовал на торгу, у паперти, на перекрёстках, то в петербургском романе Крестовского юродивый загнан в «трущобы» — подвалы, чердаки, ночлежные дома. Это символическое перемещение на дно города указывает на то, что правда и совесть в капиталистической цивилизации вытесняются на периферию, в пространство, которое «приличное общество» предпочитает не замечать. Но именно там, в этой урбанистической бездне, сохраняется этическое измерение, которое исчезло из парадных залов и чиновничьих кабинетов.

Нехрестоматийные образы

Помимо хрестоматийных образов, в русской литературе XIX века можно найти ряд менее известных, но не менее значимых воплощений юродивого, чьё этическое измерение заслуживает пристального внимания.

В рассказе Н.В. Гоголя «Страшная месть» (1831) образ старца-бандуриста, появляющегося в финале, несёт в себе черты юродского пророчества. Этот персонаж — немой свидетель страшных событий, его песнь становится формой исторической памяти и морального суда над преступлением. Гоголь использует архаическую, фольклорную версию юродства, связанную с образом «блаженного» странника, который хранит правду о прошлом. Старец не обличает впрямую, он поет песню,

и эта песнь оказывается страшнее любого обличения, потому что она несёт в себе не субъективную оценку, а объективную память рода.

В повести А.И. Герцена «Сорока-воровка» (1848) появляется образ странника-юродивого, который становится голосом народного заступничества. Герцен, с его интересом к социальной проблематике, акцентирует в юродивом его антикрепостнический потенциал. Именно «безумный» оказывается способным сказать правду о несправедливости крепостного права в ситуации, когда официальная публицистика и институциональная церковь молчат. Герценовский юродивый — это уже полностью светская фигура, этический активист, чья «безумная» речь обнажает лицемерие социального порядка. В этом смысле Герцен продолжает линию, намеченную Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву», где образ слепого нищего-певца выполняет аналогичную функцию.

В рассказе Н.С. Лескова «На краю света» (1875), уже упоминавшемся, образ православного миссионера, который добровольно принимает на себя личину юродивого, чтобы быть услышанным язычниками, представляет собой ещё одну грань секуляризации. Лесков показывает, что в условиях, когда официальная проповедь бессильна, только «безумная» любовь, готовая на унижение, может пробить стену недоверия. Миссионер-юродивый — это не столько церковный подвижник, сколько человек, который сознательно отказывается от всех привилегий культурного превосходства ради действенной помощи.

Эволюция языка юродивого в литературе XIX века

В древнерусской традиции язык юродивого был парадоксальным, алогичным, но всегда укоренённым в библейской символике. В литературе XIX века этот язык претерпевает существенные изменения.

У Пушкина Николка говорит на народном, почти фольклорном языке: «Нельзя молитвовать за царя-Ирода, Богородица не велит». Это простое, почти детское изречение, но в контексте трагедии оно обретает силу приговора. У Толстого Гриша вообще почти не говорит, его язык — это язык тела, жеста и плача. Толстой акцентирует невербальную природу образа.

Язык Достоевского юродивого (Мышкина) — это язык абсолютной искренности, который в мире лицемерия воспринимается как неприличный, бестактный. Его коммуникативное поведение скромно, христоподобно [17]. Но Мышкин говорит то, что думает, и это его «безумие». Достоевский показывает, что в секулярном мире язык правды неизбежно приобретает черты юродства, потому что он нарушает «нормальные» правила коммуникации.

Юродивая барыня Островского говорит языком пророчеств, лишённый конкретной адресности. Она говорит общими формулами («Красота — в омут»), которые могут быть истолкованы по-разному. Эта неопределённость — часть юродской стратегии: правда должна быть услышана, но не навязана.

У Крестовского язык юродивых — это язык городского дна, смесь народного говора, уголовного арго и бессвязного бормотания. Крестовский фиксирует деградацию языка вместе с деградацией социального статуса, но именно в этом сломанном, искалеченном языке сохраняется этический импульс.

Мы приходим к следующему выводу. Если в древнерусской традиции парадоксальность языка юродивого служила способом обличения греха во имя Бога, то в XIX веке этот язык постепенно утрачивает религиозную определённость, но обретает новые смыслы.

Юродивый превращается из носителя божественного откровения в маргинального правдолюбца, язык которого — будь то детское изречение, молчаливый плач, опасная искренность, туманное пророчество или косноязычие дна — всякий раз обнажает ложь «нормального» мира. Литература XIX века секуляризует юродство, но тем самым возводит его в ранг универсальной культурной модели: говорить правду становится так же невозможно и социально опасно, как безумствовать во Христе.

Исторические влияния и трансформация этического содержания в XIX веке

Трансформация образа не была самодостаточным процессом; она отражала глубокие изменения в общественном сознании, вызванные историческими событиями.

Раскол Церкви в XVII в. создал прецедент появления «альтернативных» юродивых, стоявших вне официальной церковной иерархии. Это заложило основу для восприятия юродивого как фигуры, оппозиционной любым институтам — будь то церковь или государство.

Петровские реформы, с их установкой на рационализацию всех сфер жизни, привели к маргинализации юродства как социального института. Однако именно это сделало юродивого для интеллигенции XIX века экзотическим «архаичным» типом, воплощением народной души, противостоящей западному рационализму. В литературе юродивый стал знаком национальной идентичности. Славянофилы видели в юродивом выражение особого пути России, сохранение допетровской духовной традиции.

Урбанизация и рост капиталистических отношений разрушили ту социальную нишу, в которой юродивый существовал в патриархальной Руси. В деревенской общине юродивого кормили, ему покровительствовали; в большом безличном городе он превратился в маргинала, бомжа или сумасшедшего. Роман Крестовского «Петербургские трущобы» — это первое масштабное отражение этой трансформации, показавшее трагедию юродивого, утратившего свою «экологическую нишу».

Наконец, *кризис рационализма* во второй половине XIX века, связанный с разочарованием в позитивизме и утилитаризме, вновь сделал востребованной фигуру юродивого с его иррациональным, «дурацким» знанием. Достоевский, а затем и Лесков обращаются к юродивому как к альтернативе технократическому и бюрократическому мировоззрению, как к напоминанию о том, что не все измеряется логикой и пользой.

Этический итог: барометр духовного состояния

Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов о значении образа юродивого для русской литературы XIX века и для этического самосознания национальной культуры.

Во-первых, трансформация юродивого от святого к правдоискателю, трагическому идеалисту, проводнику народной веры и, наконец, к социальному маргиналу, несущему в себе этическое начало, является точным индикатором духовной эволюции русского общества XIX века. Каждый этап этой трансформации отражает главные этические конфликты эпохи: от пушкинского осмысления самодержавной власти до крестовского обличения капиталистического города.

Во-вторых, произошла смена источников легитимности. Если в древнерусской традиции авторитет юродивого исходил от Бога и подтверждался чудом, то в XIX веке он стал основываться на моральном выборе и личной совести. Содержание юродивости как феномена вышло на свет из православной церкви, получило признание и нашло свое распространение [16]. Появление этого образа в художественной литературе подарило нам возможность его переосмысления. Литературный юродивый символизировал, что высшая правда может находиться вне официальных институтов — вне церкви, вне государства, вне сословных и партийных структур. Он стал автономным «этическим столпом», чья нравственная сила не нуждается во внешней санкции.

В-третьих, юродивый в отечественной литературе неизменно выступает как носитель народной этики. Даже когда он лишён конкретной биографии (как у Островского), даже когда он «светский» (как у Достоевского), он сохраняет связь с глубинными ценностными установками народа: правдолюбием, жертвенностью, состраданием, неприятием лицемерия и социальной несправедливости. В этом смысле юродивый становится проводником тех этических смыслов, которые были вытеснены из официальной культуры.

В-четвертых, постоянное присутствие «блаженного» в культурном поле на протяжении всего XIX столетия говорит о непрекращающемся поиске национальной идентичности. Россия — культура, для которой вопросы «что есть правда?» и «где обрести правду?» остаются централь-

ными. Юродивый даёт ответы на эти вопросы: правда — на краю, правда — в безумии мира, правда — в том, кто не ограничен никакими социальными ролями. В эпоху, когда философские и политические системы предлагали различные варианты «истины», литература напоминала, что истина может быть явлена не в стройной системе, а в живом, страдающем человеке.

В-пятых, образ юродивого в XIX веке окончательно оформляется как фигура, существующая поверх любых канонических принципов. Он не принадлежит ни к церковной иерархии, ни к государственной бюрократии, ни к сословным структурам. Эта «внеположенность» становится источником его этической силы. Юродивый не защищён ничем, кроме своей правды, и именно эта незащищённость (или «неограниченность») делает его слово весомым. Русская литература создала тип героя, который, утратив сакральный статус «человека Божия», обрел статус непререкаемого нравственного ориентира, подобно тому, как в античной традиции роль такого ориентира играл философ-киник, обличающий пороки на агоре.

Заключение

Образ юродивого прошёл в русской литературе XIX века путь от агиографического канона до экзистенциальной и социальной категории, от конкретного социального типа до универсальной культурной структуры. На протяжении этого пути менялись его внешние черты, его язык, его отношение к институтам, но неизменным оставалось его этическое ядро: быть «гласом совести», носителем правды, которая не может быть высказана на языке власти и общепринятых норм.

Главным итогом этого столетия стало рождение секулярного юродивого — фигуры, которая, утратив связь с церковной традицией, превратилась в воплощение «неотформатированной властью» морали. Все приведённые в статье персонажи существуют поверх любых догматических принципов. Их авторитет зиждется не на небесной санкции, а на их предельной уязвимости, жертвенности и способности к состраданию. Они стали теми, кто удерживает нравственное измерение мира в эпоху, когда традиционные религиозные и социальные скрепы дали трещину.

Русская литература XIX века оказалась той сферой, где юродство пережило свою институциональную смерть и обрело новую жизнь — как универсальный символ нравственной стойкости, как форма воплощения правды, которая, будучи изгнана из «нормального» мира, находит приют на его окраинах, в «безумии» и убожестве. Сегодня, когда вопрос о ценностных основаниях общества вновь оказывается в центре общественной дискуссии, обращение к этой традиции приобретает особую актуальность. Юродивый XIX века напоминает: правда часто находится не в центре, а на периферии; не у тех, кто говорит громко, а у тех, кто говорит «безумно»; не у тех, кто обладает властью, а у тех, кто от неё отказался. В этом — непреходящий этический урок, который русская литература сохранила для нас в образе своего самого парадоксального героя.

Список литературы

1. Герцен А.И. Сорока-воровка // Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. — М.: Издательство АН СССР, 1954. — Т. 1.
2. Гоголь Н.В. Страшная месть // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. — М.: Издательство АН СССР, 1937. — Т. 1.
3. Достоевский Ф.М. Идиот // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. — Л.: Наука, 1973. — Т. 8.
4. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. — Л.: Наука, 1973. — Т. 6.
5. Крестовский В.В. Петербургские трущобы: В 2 кн. — М.: Правда, 1990.
6. Лесков Н.С. Очарованный странник // Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. — Т. 4.
7. Лесков Н.С. На краю света // Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. — Т. 5.
8. Островский А.Н. Гроза // Островский А.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. — М.: Искусство, 1974. — Т. 2.
9. Островский А.Н. Лес // Островский А.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. — М.: Искусство, 1975. — Т. 4.
10. Пушкин А.С. Борис Годунов // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. — М.: Воскресенье, 1995. — Т. 7.
11. Толстой Л.Н. Детство // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. — М.: Художественная литература, 1935. — Т. 1.
12. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. — М.: Московский рабочий, 1991.
13. Иванов С.А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. — М.: Языки славянских культур, 2005.
14. Панченко А.М. Юродство как феномен русской культуры // Лихачев Д.С., Панченко А.М. «Смеховой мир» Древней Руси. — Л.: Наука, 1976.
15. Юродивый Христа ради // Большая российская энциклопедия: [электронный ресурс].
16. Шарабарина, Е.А. Религиоведческое исследование феномена русского юродства: проблема применимости феноменологического метода Жака Ваарденбурга / Е.А. Шарабарина // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. — 2023. — Т. 48.

17. Уффельманн, Д. От риторики tapeinosis и humilitas через традицию древнерусского юродства к христопоэтике Достоевского («Идиот») / Д. Уффельманн // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. — 2022. — № 1 (17). — С. 100–122.

References

1. Herzen, A.I. "The Thieving Magpie" // Herzen, A.I. Collected Works: in 30 vols. — Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1954. — Vol. 1.
2. Gogol, N.V. "A Terrible Vengeance" // Gogol, N.V. Complete Collected Works: in 14 vols. — Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1937. — Vol. 1.
3. Dostoevsky, F.M. The Idiot // Dostoevsky, F.M. Complete Collected Works: in 30 vols. — Leningrad: Nauka, 1973. — Vol. 8.
4. Dostoevsky, F.M. Crime and Punishment // Dostoevsky, F.M. Complete Collected Works: in 30 vols. — Leningrad: Nauka, 1973. — Vol. 6.
5. Krestovsky, V.V. Petersburg Slums: in 2 books. — Moscow: Pravda, 1990.
6. Leskov, N.S. The Enchanted Wanderer // Leskov, N.S. Collected Works: in 11 vols. — Moscow: State Publishing House of Fiction, 1957. — Vol. 4.
7. Leskov, N.S. On the Edge of the World // Leskov, N.S. Collected Works: in 11 vols. — Moscow: State Publishing House of Fiction, 1957. — Vol. 5.
8. Ostrovsky, A.N. The Thunderstorm // Ostrovsky, A.N. Complete Collected Works: in 12 vols. — Moscow: Iskusstvo, 1974. — Vol. 2.
9. Ostrovsky, A.N. The Forest // Ostrovsky, A.N. Complete Collected Works: in 12 vols. — Moscow: Iskusstvo, 1975. — Vol. 4.
10. Pushkin, A.S. Boris Godunov // Pushkin, A.S. Complete Collected Works: in 17 vols. — Moscow: Voskresenye, 1995. — Vol. 7.
11. Tolstoy, L.N. Childhood // Tolstoy, L.N. Complete Collected Works: in 90 vols. — Moscow: Khudozhestvennaya Literatura, 1935. — Vol. 1.
12. Fedotov, G.P. The Saints of Ancient Russia. — Moscow: Moskovsky Rabochy, 1991.
13. Ivanov, S.A. Blessed Fools: A Cultural History of Yurodstvo. — Moscow: Languages of Slavic Culture, 2005.
14. Panchenko, A.M. "Yurodstvo as a Phenomenon of Russian Culture" // Likhachev, D.S., Panchenko, A.M. The "Laughter World" of Ancient Russia. — Leningrad: Nauka, 1976.

15. Yurodivy Khrista radi [Holy Fool for Christ's Sake] // Big Russian Encyclopedia : [electronic resource].
16. Sharabarina, E. A. Religious Studies of the Phenomenon of Russian Holy Foolishness: The Problem of Applicability of Jacques Waardenburg's Phenomenological Method / E. A. Sharabarina // NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. — 2023. — Vol. 48.
17. Uffelmann, D. From a Rhetoric of tapeinosis and humilitas through the Tradition of Holy Fools to Dostoevsky's Christopoetics (The Idiot) / D. Uffelmann // Dostoevsky and World Culture. Philological Journal. — 2022. — No. 1 (17). — P. 100–122.